



Людмила
Херсонская

РУССКИЙ	ГУЛЛИВЕР
---------	----------

ВСЕ СВОИ

Людмила Херсонская

Все свои

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27050525

Все свои:

ISBN 978-5-91627-065-5

Аннотация

Это первая книга стихотворений Людмилы Херсонской – поэта и переводчика. Она живет и работает в Одессе, стихи пишет давно, а вот публиковаться стала лишь в последние пару лет. Тем не менее стихи Херсонской – неожиданные, негладкие, обладающие «способностью бросать читателя в дополнительное измерение» (П. Сорокин), – сразу нашли благодарного читателя.

Содержание

«Есть стихи, автором которых...»	6
«Позавчера был день рождения...»	8
Жизнь такая	13
Отрез	13
Ася	14
Печь	15
Пальто	17
Саша и пять пальцев	18
Шпала	19
Девочка, мишка идохлые кошки	21
Сережа	22
Люби меня больше всех	23
«Господи, он так матерился, он так орал...»	24
Яблочко	25
Звонок	26
Добрая	27
Петренко и фазаны	28
Жизнь такая	29
С метлою	30
Санитарки	31
Ты ведь доктор	32
Дед	33
До срока	34

Уборка	35
В забой	36
Во имя отца и сына	37
Костя	38
Сява	39
Весна	40
Желтые одуванчики	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Людмила Херсонская

Все свои



Людмила Херсонская родилась в 1964 году. Окончила факультет романо-германской филологии Одесского национального университета. Переводчик-синхронист.

Печаталась в журналах «Крещатик», «Дети Ра», «Новый берег», «Интерпоэзия». Лауреат Волошинского конкурса (2007).

«Есть стихи, автором которых...»

Есть стихи, автором которых не хочется быть, но вот отчего-то с ними соглашаешься, как будто это написано тобой. Узнаешь до мелочей все свои мелкие и крупные муки, сомнения и волнения. Узнаешь свой мир, хотя бы он был изображен в совсем другой стилистике. Такие стихи – а с ними встречаешься очень редко – оставляют ощущение больше чем живое. Это (без скидок и оговорок) встреча с потусторонним.

Именно такое чувство было у меня при чтении стихов Людмилы Херсонской. Эти стихи для меня сразу же вошли в очень высокие и вместе трудные сферы словесности. Они будто корявы, неряшливы, угловаты, как Тальони. Их немного, они будто боятся сами себя, но нет. Офелия без страха вошла к королеве и без страха же вошла в реку.

Мне очень близко то, о чем эти стихи. Холодное, трудное до головокружения течение времени, ощущение себя с ним один на один – ребенком. И от этого – ребенком, девочкой – никуда не деться. Однако поэзия Херсонской совсем не о том, что в каждой женщине до самой смерти живет маленькая царевна. Это как раз и называю «вечной девочкой». Героиня Херсонской – дитя потустороннее, это видение души, собеседование с нею. Героиня разговаривает с домом, садом, оврагом, рекой – едва ли не чаще, чем с живыми

людьми. И ей лучше понятен язык усопших, а живых эта героиня побаивается. Потому, наверно, чувствует родство со странными персонажами, почти оборотнями: бомж, утопленник, невидимый житель подвала. Наблюдает их со стороны, с большого расстояния, но так сочувственно, как не смогли бы другие. Не жалея, а именно улавливая общее.

Что нравится: в этих стихах, как бы созданных для повышенной интонации (и спекуляции), все внутри совсем иначе. Интонация не повышена, наоборот, почти будничная резкость, а порой лепет, косноязычное бормотание. Героиня видит бомжа не объектом приложения злобно-гуманистических чувств – она видит его бомжом. Но ведь бомж живет не как человек, и вот именно это «как живет» интересует героиню. Не для того чтобы преподнести читателю жареное блюдо, а чтобы убедиться в наличии совсем иных форм жизни, которые сквозь него просвечивают.

Наталья Черных

Москва

«Позавчера был день рождения...»

Позавчера был день рождения у моей ровесницы Людмилы Херсонской – поэта, мне лично настолько интересного, что хочется сказать пару слов. Не знаю кого как, а меня ее стихи каждый раз поражают. Ни на кого не похожие, они моментально узнаваемы интонацией и точкой зрения – как марсианин Майкл Смит в романе Хайнлайна, они обладают способностью бросать читателя в дополнительное измерение. Как будто оказываешься сам в одном кадре с персонажем, и суть ситуации моментально ясна настолько, что не требуется экспозиции. И речи, и изложение – конспективны в духе и силе русской идиомы; ключевые выражения включают ту массу ассоциаций и смыслов, что хранится в русскоязычной голове, а неожиданные столкновения слов как бы сдвигают угол зрения. Сразу досмысливаешь многое из недосказанного – и сравниваешь впечатление с резюме, которое нередко дается в концовке.

Попробую проиллюстрировать:

Анна Марковна и вареная колбаса

Жил-был у Анны Марковны
один случайный роман

с директором заместителя.
Давай разевай карман
или пошире рот свой —
что ж, случилось и так.
Тучная Анна Марковна
поднимается на чердак.
Желтая паутина,
пара рваных чулок.

На тучную Анну Марковну
опрокидывается потолок,
с полки летят газеты,
как если бы кто бросал,
как если бы кто-то пьяный,
стоп-кран, карантин, вокзал.
Жаль, думает Анна Марковна,
всех дел-то на два часа.
Ни имени, ни отечества.
Вареная колбаса.

Причудливый текст, не так ли? Игра слов и смыслов настолько плотная, что прочитать ее можно очень по-разному – смотря в какое зеркало заглянуть. Свое воображение весьма ограниченное и испорченное, но уж какое есть.

Первое же слово не «был», а «жил-был» – и сам «роман» сразу превращен в действующее лицо. «С директором заместителя» или «с заместителем директора» – неважно, от перестановки слов здесь ничего не меняется, только на-

знатается бессмысленность происходящего. Суть «романа» сразу раскрыта простым выражением «разевай карман», а насчет «пошире рот свой» указано, что это выражение надо понимать в обоих смыслах – переносном и прямом.

Дальше в пяти словах показана вся картина восшествия на чердак. Больше ни единого слова зарисовки, натурализма не нужно – ведь через миг «опрокидывается потолок»: это и описание сердечного приступа, и переход из трехмерного пространства в измерение времени, и следует, похоже, видеоряд из прошлого Анны Марковны – моему поколению знакомый больше по старым советским фильмам. Вообще стихотворение явно рассчитано на читателя, помнящего советские времена – или хотя бы имеющего о них представление.

А вот проносятся предсмертные мысли – сколь прозаические, столь и трагические. «Вареная колбаса» – это и то, что сделало Анну Марковну тучной, и назойливое видение, и чуть ли даже не резюме ее жизни, – и вдобавок еще, кажется, переключка с «пошире рот свой». Причем ничто подробно не проговаривается – читатель по ключевым словам выстроит, что требуется, из своей головы. Такой вот «микророман» – концентрированный и многослойный текст, в котором читается – при всей его краткости – и судьба, и эпоха.

А вот стихотворение более, скажем так, дидактичное и патетическое – но точно так же ошарашивающее неосжи-

данностью и силой видения:

* * *

Ты все еще с ними? Так они же боятся!
Выходят из-за угла из касок, из-за затвора,
выстраиваются в лоб, в висок, в затылок равняться,
кричат, воруя от страха: «Держите вора!»
Ты все еще с ними? Так они же в ботинках!
Вон протоптали – латай теперь – дырку в заборе,
выбоину в голове, яму в окне, книжку в картинках.
Вон они говорят, шапки горят на воре.
Ты все еще с ними? Так они же сквозные!
В ушах свистят, в голове шумят, в глазах двоятся.
Выходят из-за угла похожие запасные.
Очень хотят убить. Но убить боятся.

Помните у Лукьяненко в его «Дозорах» такую штуку – «сумрак»? Стихи Людмилы Херсонской, по-моему, как раз о том, что видно в сумраке, – о метафизической сути явлений. Внешнее, маскирующее не то что растворяется, а обретает вид отчетливых знаков. Перед нами и слуги режима, и «духи воздуха» – то есть бесы. Их материальность постепенно растворяется: только что «вышли из-за угла» – и вот уже «в голове шумят». Цепочка образов выстроена сначала как бы логически, потом по ассоциации, а потом и вовсе по

интуиции, по озарению – и появляются такие нелогичные, но убедительнейшие выражения: «воруя от страха», «яма в окне», – подключившись к магии стиха-заговора, догадываешься, о чем речь. Понимаешь, что значит «они сквозные», и без подсказки ясно, чего боятся.

...Перед нами видение души, наблюдающей мир души и сопутствующих им духов, – но смотрит не ребенок. Этот зритель, по-моему – ангел-хранитель, все знающий про людей, но не устающий им дивиться и сострадать.

Павел Сорокин

Ванкувер

Жизнь такая

Отрез

Она состарилась вместе с отрезом шелка,
купленным для выпускного платья. Его не сшили.
Отрез пролежал сорок лет – ни одна иголка
не подходит для этой ткани, для этой пыли.
Шелк импортный, голубого цвета,
на голубом фоне рябь зеленого зуда,
и неровные пятна желтого цвета,
и еще какие-то пятна, непонятно откуда.
На шелковой ткани проступили морщины,
думала сшить халат, но отрез наотрез отказался —
скользил и сыпался, как взгляд одного мужчины,
который обещал остаться, но не остался.

Ася

Снилась гибкая Ася, ходившая хрупкой походкой среди коммунальных совков и липких клеенок. Соседка Надя наказывала Асе сбегать за водкой. Ася не отказывала, но просила: пойду, как уснет ребенок.

Надя снисходительно ржала и отвечала: можно. Сама однажды рожала, можно, мол, понимает. Ася уходила в темноту тихо и осторожно, как кошка, которая в темноте лапочек не снимает.

Приносила водку, сворачивалась клубочком и засыпала на самом маленьком в мире диване. Ася приехала из деревни, родила от придурка дочку. Говорит шепотом, привечает придурка, зовет его Ваней.

Печь

Темные сальные волосы собраны в жирный пучок.
Гладкая кожа. Безумие не знает морщин.
По пыльной стене карабкается паучок.
В этом доме нет и не будет мужчин.

Сумасшедшая мать мечется по делам.
Пятый этаж, а ведь нужно построить печь.
Такую, как в русской хате с иконами по углам.
Зимой, когда будет холодно, печку можно разжечь.

Затопить дровами сосновыми. Придумать бы, где их
взять.
Придумать – дело нехитрое. Щурится серый глаз.
Может еще случиться, что объявится зять.
В доме нужен мужчина. И он подойдет как раз.

Серый глаз стекленеет, заглядывая вперед.
Рот перевернутой скобкой улыбается вниз.
Доченька родила. Даже если зять не придет,
выстроим печь на славу. Пусть дымит под карниз.

Лишь бы не было холодно нашей детке зимой.
Потепление климата – чья-то нехитрая ложь.
Скоро и газ отключат, и зять вернется домой.
То-то запыхнет жаром. Не трожь. Обожжешься. Не трожь.

Пальто

В мире, где никто никого не любит, она плачет,
обижается:

почему ты не любишь меня, именно меня?

Да он как-то не любит, и все, а она раздражается.

В школе после второй смены, когда за уроками не
вспомнишь дня,

он искал пальто в раздевалке, а его вытоптали и куда-то
дели

или вывернули наизнанку – и этого не вспомнить и не
найти, —

старое, в общем, пальто, но было холодно, в самом деле,
и не очень понятно – это стыдно или можно и так идти.

Он пришел домой, где никто никого не любил ни зимой,
ни летом,

плакал: почему спрятали именно мое, именно мое
пальто?

И мать кричала: где ты там его потерял? Где там?

Почему именно ты теряешь? Или кто-то еще?

Нет, больше никто.

Саша и пять пальцев

Мама с детства говорила Саше: не бойся,
и та не боялась.

Темноты, уточняла мама, —

и Саша боялась только в дневное время.

Фейерверка, смеялась мама, —

и Саша не боялась, когда стреляли из пушек.

Не надо бояться крови, —

и Саша по пальцам считала убитых.

Не бойся собак, говорила мама, —

и Саша, прикрыв ладошкой глаза,
сквозь пальцы рассматривала людей.

Шпала

В пионерлагере ее называли Шпала.
Торчали лопатки. Костлявые ноги в шортах.
Бегала быстрее всех. На эстафете упала.
Разбила коленку. Команда продула к черту.

Днем с ней никто не водился. «Шпала идет, атас!»
Шпала идет, высоко поднимая колени.
В спину холодный шепот: «Это Шпала могла украсть.
Я видела. Она подходила к тумбочке Ленки».

Со всех сторон обступили: «А ну отдай!
Это ведь ты взяла. Мы расскажем. Шпала – воровка!»
«Что я взяла?» – «А ты сама угадай!
Не отдашь – пеняй на себя». Пошли за веревкой.

Шпале связали руки, чтоб ее обыскать.
Правда, Ленка скоро нашла свои скудные бусы.
Они валялись под тумбочкой. «Это Шпала хотела взять.
Но она не успела. Вон ее всю как трусит».

Шпала и вправду трусиха. Боялась ходить в туалет
ночью на улицу. Пионервожатая злилась:
«Зачем разбудила? Тебе уже девять лет!
Вон дылда какая вымахала!»
А Шпала плакала и просилась.

Девочка, мишка и дохлые кошки

Перед посадкой в большой автобус
маленькую девочку высадили по-маленькому.
У девочки в голове – глобус, в глазах – ребус,
в улыбке – цветочек аленький.

Девочка прижимает к щеке леденец,
к груди – мишку, к коленке – ранку.
Мама говорит девочке: «Молодец!»
Девочка говорит мишке: «Молодец!»
Водитель крутит баранку.

Девочка видит на дороге погибшую под колесами кошку,
потом она видит другую задавленную кошку
и еще третью – девочка умеет считать до трех.
Каждую раз-два-три жалко немножко.
Девочка больше не смотрит в окошко —
пусть ищут других дурех.

Сереза

Серезина мама пришла с работы. Она очень раздражена.
У Серези тонкая шейка. Все говорят – дебил.
Сереза маму боится. Папа говорит: «Жена
у меня садистка».
Папа Серезу не бил.

Серезе лучше, когда дома выключен свет.
Тогда он может сидеть и смотреть прямо перед собой.
И никто не скажет: «Что уставился?»
И не надо искать ответ.
И можно не видеть в зеркале свой профиль чужой рябой.

Сереза умеет считать, но только до десяти.
Он очень любит собаку, живущую за окном.
Сереза встает со стула, но забывает уйти.
Включают свет.
«Что уставился?»
Сереза забылся сном.

Люби меня больше всех

В детстве она говорила: «Люби меня больше всех!»
Подходила к гостю и говорила: «Люби меня больше всех!»

Гость какое-то время любил, потом, пригубив иных утех, выныривал с мокрым ртом из-под маминых покрывал, спускался вниз, держась за перила, уходил, забывал.

В юности она говорила: «Люби меня больше всех!»
Подходила к парню и говорила: «Люби меня больше всех!»

Парень любил как умел, наспех, на скорый грех — заваливал на сеновале, целовал наповал, потом уходил, не оглядываясь, забывал.

В старости она говорила: «Люби меня больше всех!»
Подходила к ребенку и говорила: «Люби меня больше всех!»

Задабривала, предлагала конфетку или орех, ребенок ел, давился, тихонечко подвывал и до самой смерти боялся, вздрагивал, не забывал.

«Господи, он так матерился, он так орал...»

Господи, он так матерился, он так орал,
такое эхо осталось из таких неприбранных слов,
ушел, не оглянувшись, за собой не прибрал.

Шестой этаж, мидии, плов.

Зачем готовить еду, если так орать,
зачем потом ее вместе садиться есть?

Зачем экономить, бить себя по рукам: «Не трать!»?

Зачем он читает и рвет газету? Бог? Весть?

Зачем он мусорит, зачем он всюду сорит?

И разве заткнешь insultному больному рот?

Закрой ладошками уши и не слушай, что он говорит.

У него осталась лишь четверть мозга. Собственно, она и орет.

Яблочко

Бедная, бедная, глаза у самого рта.
Ела бы еще, да все равно не будет сыта.
Вот у нее мальчик, сын у нее, сынок,
вечно его ищет, сбивается с ног,
с толку. Сынок торчит – уши торчком —
смотрит волчком, бычком, ходит бочком.
Как найдет, бросается сынка обнимать,
не жалеешь ты, говорит, твою мать.
А у самой на голове шапка, вязанная крючком.
Шапка зимой и летом прикрывает уши торчком.
Яблочко мое, яблочко, куда укатилось ты?
А сынок мычит из разинутой пустоты.
Яблочку моему, яблочку негде упасть,
а у сынка запрокинутая, разинутая пасть.
Яблочко мое от яблоньки, червивая моя красота.
А сынок улыбается – глаза у самого рта.

Звонок

Она позвонила ему на работу
напомнить, что вечером они идут в гости,
что Катя уже поставила утку
и спрашивает, что они будут пить.

Он стал орать: «Чего ты звонишь, чего ты
хочешь? У меня люди!» Трясся от злости.
«Чего ты вычитываешь меня целые сутки?
Не даешь работать! Не даешь спать! Не даешь жить!»

Она спокойно повесила трубку и подумала: «Идиот».
Он швырнул трубку и долго кричал: «Дура! Дура!»

Добрая

Этой, думает, милостыню подам —
чистенькая, правильная старушка.

Этому без ноги не дам, этому с кружкой не дам —
профессиональный нищий, профессиональная кружка.

Этого, думает, в очереди пропущу —
интеллигентный такой, стриженная борода,
эту вот специально толкну, а в ответ толкнет – не прощу,
зонтиком чиркну по лаковому плащу,
толкаться она будет, уродка!

Этому место уступлю – зашел с палочкой и стоит,
тихо так стоит, без упрёка,

а беременной не уступлю – я бы на месте их
дома сидела, не красовалась до срока.

Эту соседку угощу, к празднику угощу,
а эту угощать не буду – проходит, еле кивая.

Этого, думает прощу, а остальным не прощу.

Добрая. Никогда не ошибается. Отбирая, давая.

Петренко и фазаны

Водитель Петренко ловит фазанов руками.
Фазан пуглив – приседает и глаз с Петренко не сводит.
Тут Петренко накрывает его мешком.

Он с детства ходит с мешками.

Сейчас у него четыре фазана. Он их разводит.
Раньше Петренко ловил пеликанов, но пеликанов мало.
Да и толку от них никакого – в пух разоришься.
Жена Петренко давно его донимала,
лучше, говорила, фазанов – мол, этих не так боишься.

Что с нее взять – баба глупая, ни одной птицы
за свою жизнь не поймала. Сама, как курица, квохчет.
Пеликанов боялась, да она и фазанов боится.
Петренко бы с ней развелся, но пока что не хочет.

Жизнь такая

Жизнь такая, что лучше бы не смотреть —
пьяный дед с трудом отдирается от забора.
За забором собака по кличке Держитевора
живет и думает, как бы не озвереть.

Баба била-била деда, да не разбила,
серая жизнь пробежала, махнула хвостом —
пьяный дед упал и лежит животом.
Собака плачет – деда она любила.

Хоронить деда некому. Слепая старуха стара.
Так и явится в мокрых штанах перед Богом,
с сутулым личиком, в пиджачишке убогом.
Привязанная собака не уйдет со двора.

С метлою

А она схватила метлу и давай обметать одну, а потом другую.

А одна завизжала: «Не смей, мне охота замуж!

Буду косы плести на глазах у спящего мужа!»

А другая раздвинула ноги в широкой юбке

и пошла, и пошла, и пошла другая,

да по кругу, да с пяточки на носочек.

«А меня, – говорит, – обметай, мне пофиг.

Умела мужика моего, умыла.

Стерва, – говорит, – ты с метлою.

Самая стерва и будешь».

Санитарки

У санитарки крепкие руки —
такими только топить котят.
У ее подруги тоже крепкие руки.
Целые сутки
санитарки выносят «утки».
Из детского отделения выносят «утят».

Новому лежачему больному
тяжело облегчить пузырь и желудок,
больному легче это сделать дома,
без подкладного судна, без всяких «уток»,
но порядок требует надзора,
и чтобы не умереть от позора,

больной делает то, что ему говорят,
и бессмысленно улыбается – не навредите,
и смотрит, как «утки» выстраиваются в ряд.
Давайте, требуют санитарки, ходите,
а они – оглядывают новичка – видишь ли, не хотят.
Смеются, выключают свет, уходят топить котят.

Ты ведь доктор

Доктор, ты ведь доктор?

У меня (*берется за голову*) здесь муть.

Гудит, как трактор.

Раньше (*берется за грудь*) было не продохнуть.

Вот такой характерный фактор.

Откуда оно берется? (*Доктор, наморщив, нос, слушает до конца без конца вопрос.*)

Ну да, у меня умерла жена, ну да, ну да.

Это, доктор, не какая-нибудь ерунда.

Можно, конечно ее извинить,

но вот так уйти... Доктор, слушай сюда,

я хочу спросить, мне принимать тавегил?

Я этого лекарства еще ни разу не пил —

купил исключительно для нее, а она...

Ну разве должна умирать любящая жена?!

А знаешь, доктор, ну его, тавегил, ну.

Помнишь, как в том анекдоте, где он похоронил жену,
а таблетки остались, и что им пропадать понапрасну?

Вдовец говорит, женюсь, но к невесте подайте мне астму,
потому что осталось лекарство. (*Берется за живот.*)

Умора.

Мне тоже, похоже, скоро...

Дед

После обеда после солнца явился дед,
сначала вздох, а за вздохом дед – след в след.
Дед – старый покойный сосед, деда давно уже нет,
то есть не так давно – всего несколько лет.

Явился и просит порошочков, чтоб не болеть;
когда жив был, покупала в аптеке – деда жалеть,
он их то ли терял, то ли горстью ел – сейчас уже не понять,
просил еще порошочков, чтоб боль унять.

Где, спрашивала у деда, болит? А везде болит,
говорил, в органах по пенсии инвалид,
я, говорил, никого не убивал, а живу – как убил.
Мне бы, говорил, порошочком кто пособил.

Жалела его по соседству. Возвращалась домой,
а у ворот ждал меня дед нехороший мой
с орденом на груди. Кто его наградил?
За что? Прости ему, Господи, чтоб больше не приходил.

До срока

А сама радуется, когда кто-то уходит до срока,
ничего, думает, я еще поживу.
Молодую жалко. Скока ж ей было? Скока?
Как душа примется, так прорастает в былье-траву.
Вон у Сергевны племянник Ванька-Невстанька,
пить-то он пил, да не долго же он и был,
как заснул бодуном-бревном после водки да баньки,
так разогретый к утру как раз и остыл.
Никуда не торопится, погоди, думает, дай-ка
липовый чай заварю, до чего ж пахуч!
Радуется, тихо радуется. Покойная тучная Тайка
ждет ее не дождется, выглядывает из туч.

Уборка

Каждый раз, когда он уезжает, она убирает в доме, выбрасывает старые вещи, бумаги, книги.

Зачем, спрашивается, столько книг ему одному, зачем ему атлас мира и путеводитель по Риге?

Каждый раз, когда он приезжает, чтоб ничего не найти, он вверх дном перерывает дом. «Где моя черная папка? Ты выбросила ее, выбросила?» – «Выбросила, прости». У нее в голове веник, в руках мокрая тряпка.

Она хлопчет на кухне, муж сидит на полу, суп уже остывает, а муж не идет к столу, ползает среди старых фото, выпавших из альбома, — вот девочка с мишкой, вот дедушка в кителе... «А где мои родители? Господи, где родители?» — «Совсем сошел с ума. Твои родители умерли, Шлёма».

В забой

Папа-шахтер опускает дочурку в забой.

«Не страшно, девочка? Не очень темно без света?»

На деревянном подносе, думает девочка, глядя перед собой,

на самое дно, где можно встретить любого скелета.

Девочка погружается, как в колодец ведро,

думает, зря вот исправила двойку в журнале,

а теперь на деревянном подносе – в земляное нутро, даже если и выйду, как бы меня не забыли, как бы узнали.

Вот, например, хоронят, думает девочка, и то не так глубоко,

сама на кладбище видела, как роют яму.

Девочку никто не видит. На душе у нее легко.

Она исправила двойку и простила папу и маму.

Во имя отца и сына

В собор на пасхальную службу привели мальчика.

Мальчик стоял, насупившись,
отвернувшись от бабушки и от Бога.

Раскрыв дешевую брошюру о пасхальных праздниках,
бабушка серым ногтем выделяла текст песнопения.

Мальчик держал руки в карманах, сучая
перекреститься.

Бабушка толкала мальчика в бок – во имя Отца и Сына...

Мама толкала бабушку: оставь его, он не хочет,
бабушка говорила: Он хочет – и сердилась на внука.

Впереди стоял другой мальчик с круглым затылком,
он пришел с папой двухметрового роста,
осенял себя мелкой щепотью, склонял круглый затылок,
делал все так же, как двухметровый папа.

Бабушка выделила серым ногтем другого мальчика,
видишь, толкала она внука, видишь, как надо,
повторяй за мной: во имя Отца и Сына...

Внук хотел заплакать, но не заплакал.

Костя

Приехал несвежий человек по фамилии и имени Костя.
Гостю налили сладкого чаю и показали ему кровать.
В субботу хозяева позвали Костю в другие гости.
Неудобно, конечно, но Костю некуда было девать.
Костя переоделся в свежее, выбрил шею
до раздражения, до кровоточащих бугорков.
Причесался, на глазах у зеркала хорошея,
растерся дешевым одеколоном и стал таков.

Таков, да не таков,
до истертых локотков.

Гостя впустили, показывают, здесь у нас зал,
а Костя уже снял ботинок и стелется.
Не беспокойтесь, я сам, больше ничего не сказал.
Даже от чаю отказался – пустяки, безделица.
Так в гостях и приспособился, от души за милую душу,
маслом мажет, хрустит огурчиком, прибавил в росте.
Предупреждает: в компоте я предпочитаю яблоку грушу.
Потом его, конечно, отвели в другие гости.

До свиданья, до свиданья, но и до свидания,
у нас не было еще плохого расставания.

Сява

Еще приходил аккуратный такой балбес.
Всем представлялся, говорил: «Я Сява. Я Сява».
До чего милый, до чего все были тронуты
до глубины души, по самые уши.
«А что тут у вас, девочка болеет?»
«Болеет, – отвечали Сяве. – С детства болеет.
Как мать родила, так и болеет.
Да ты уж и раньше спрашивал», – отвечали Сяве.
«А это кто у вас шьет, похож на еврея?»
«А это еврей, – отвечали Сяве, – шьет малютке рубашку».
«То-то же, что еврей, – рассматривал Сява, —
и шов какой-то чужой, и покрой неважный».
«Ничего, – успокаивали Сяву, – ничего, обойдется,
авось малютка и так помрет, не вставая».
«Жалко материи, – говорил Сява, – а так, конечно,
пусть его шьет для девочки. Что мы, нелюди, что ли?»

Весна

Девочка в желтом берете
лает на дохлую в желтом синичку.
Девочка ничего не помнит о лете.
И девочку жалко, и птичку.

Мальчик с дерева поет про жалко,
что жалко только у пчелки.
У мальчика на дереве палка,
у девочки из-под берета не видно челки.

Какая-то некрасивая мама
лает на красивую дочку:
«Стой прямо!
Смотри мне в глаза, когда со мной разговариваешь!»
На девочке набухают и распускаются почки,
скоро будут цветочки.

Желтые одуванчики

Весной в седьмом «Д» в школе на Молдаванке
на площади Полярников
из-под парты Машки-да-Ваньки
вылезли желтые одуванчики.

У Машки мятые бантики-рукава-воланчики,
у Ваньки звездные шрамы от сигарет, потушенных о
кожу.

Если за ними подглядывать, Машка с Ванькой очень
похожи.

За одной партой ссорились-целовались с первого класса,
оба исключены из труда пионерских ударников:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.